УДК 821.161.1+821.111
DOI 10.52452/2658-7475-2026-3-31-89-104

ЛИРИКА А.С. ПУШКИНА В КОНЦЕПЦИИ И ПЕРЕВОДАХ СЕСИЛА БОУРА

© 2026

С.Б. Королева

Королева Светлана Борисовна, SPIN-код: 8621-0051, ORCID: 0000-0002-7587-9027, доктор филологических наук, заведующий научно-исследовательской лабораторией «Фундаментальные и прикладные исследования аспектов культурной идентификации», Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова (603155, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Минина, 31а), svetlakor0808@gmail.com

Статья поступила в редакцию: 07.08.2026
Статья принята к публикации: 14.09.2026

В статье описана концепция русской поэзии от Пушкина до Маяковского, изложенная в предисловии к англоязычной антологии под редакцией С.М. Боура (A Book of Russian Verse, 1943). Проанализирована взаимосвязь идей Боура с концепциями русского реализма, созданными его авторитетными предшественниками – М. Бэрингом и Д.С. Мирским. Осуществлена сравнительная интерпретация стихотворения А.С. Пушкина «Дар напрасный, дар случайный…» (1828) и опубликованного в антологии перевода Боура в свете описанной концепции. Доказано, что концепция доминантных тем, изложенная в антологии, последовательно и своеобразно синтезировала результаты переводческого опыта С.М. Боура с концепциями русской литературы, выдвинутыми М. Бэрингом и Д.С. Мирским. Анализ переводческой интерпретации стихотворения «Дар напрасный, дар случайный…», осуществленной С.М. Боура, обнаруживает неслучайную в контексте его концепции содержательную близость текстов оригинала и перевода. Вместе с тем обнаружено, что перевод замещает гармоническое благозвучие пушкинского стиха напряженно-драматическим звучанием; предлагает специфическое толкование его содержания в смысловых векторах, близких переводчику и англоязычному читателю (мотив злого рока, традиции метафизической поэзии и английского романтизма, метафизика Ничто); предлагает вместо фундаментальной для пушкинского стихотворения религиозной, христианской парадигмы миропонимания метафизический (в духе М. Хайдеггера) разговор о сущности человеческой жизни перед лицом смерти и Ничто.

Ключевые слова: антология русской лирики, англоязычные переводы, А.С. Пушкин, С.М. Боура, концепция русской поэзии, переводческая интерпретация, «Дар напрасный, дар случайный…», христианская парадигма миропонимания, М. Хайдеггер.

Антология русской поэзии (*A Book of Russian Verse*) под редакцией С.М. Боура (C.M. Bowra) впервые увидела свет в 1943 г. Выпустило ее одно из центральных лондонских издательств в серии, рассчитанной на относительно широкую (интеллектуальную) аудиторию. В кратком комментарии-предисловии ко второму изданию уточнена просветительская цель публикации: «Долгое время существовала потребность в антологии лучшей русской поэзии в хороших английских переводах, и книга является ответом на этот запрос. <…> Русская поэзия малоизвестна в Англии, соответственно книга призвана познакомить английского читателя с авторами, которые в своей стране считаются по крайней мере равными ее великим романистам» / “An anthology of the best Russian poetry in good English translations has long been needed, and this book is an attempt to supply this need <…>. Russian poetry is not well known in England, and it is hope that this book will make more familiar authors who in their own country are regarded as at least the peers of the great novelists” [Bowra 1947, fly-leaf]. Русская поэзия по замыслу редактора и издателя должна вслед за прозой русских писателей XIX века явить английскому (англоязычному) читателю своеобразие и величие русской культуры.

Эта антология стала первым сборником «лучших образцов» русской лирической поэзии от Пушкина до Маяковского в качественных английских переводах. При этом в истории литературных взаимосвязей Англии и России она, разумеется, была отнюдь не первой англоязычной антологией русской лирики. Наиболее ранняя из них была издана еще в 1816 г. в Лондоне (*Russian Troubadour*, переводчик и составитель Бенджамин Берисфор). В 1821 г. вышла в свет более систематически составленная книга «Образчики русской поэзии» (*Specimens of the Russian Poets*) Джона Бауринга; в 1826 г. – антология В.Г. Сондерса. Книга Бауринга, при всей субъективности отбора стихов (стихи Пушкина в ней, например, не представлены совсем) и интерпретации их формы и содержания, долгое время считалась классической.

Антология, вышедшая в свет более чем через 100 лет после первого издания книги Бауринга, не только представила новый материал в новых переводах, но и очертила выделенный период развития русской поэзии как «классический». В стремлении представить русскую поэзию «от Пушкина до Маяковского» как уникальное (национально

специфичное) и безусловно значимое явление мировой культуры она опиралась на особый исторический и социокультурный контекст. Это был контекст Второй мировой войны, в которой Британия сблизилась с советской Россией (СССР) в противостоянии гитлеровскому нацизму, а также сформированное к этому времени представление британского читателя-интеллектуала о непреходящей ценности русского романа второй половины XIX века.

Редактором и составителем книги, выдержавшей четыре переиздания, последнее из которых появилось в 1976 г., стал известный английский переводчик (в том числе с русского), «выдающаяся фигура в академической жизни Оксфордского университета» (“a prominent figure in academic life at Oxford University”) [Davidson 2009, p. 42], автор многочисленных критических статей о русских поэтах Сесил Морис Боура. В книгу вошла избранная лирика 27 русских поэтов XIX – начала XX вв. (до 1920-х годов), включая Пушкина (36 стихотворений и фрагментов из поэм), Лермонтова (22), Тютчева (10), Некрасова (6), Фета (9), Сологуба (4), Брюсова (5), Блока (17), Есенина (3), Маяковского (1). Количество отобранных стихотворений в его соотношении с именами избранных авторов свидетельствует о своеобразной концепции русской поэзии, сформированной в сознании редактора-составителя. Эту концепцию он изложил в объемном предисловии к антологии.

Отталкиваясь от мысли о том, что вся русская поэзия начинается с Пушкина и около 1922 года совершает резкий скачок в сторону от основного вектора своего развития, Боура подробно останавливается на описании этого вектора. В предложенном им взгляде на причины и содержательное своеобразие русской поэзии обнаруживаются явственные следы влияния этнокультурной концепции, изложенной в научно-просветительских трудах его предшественника Мориса Бэринга. О неслучайности этого сходства прямо свидетельствует акцентное указание этого имени первым в числе имен авторов, чьи переводы были использованы в антологии.

Суть концепции М. Бэринга – дипломата, писателя, переводчика, просветителя – определяется распознаванием в русской поэзии черт имманентного реализма, свойственного русскому национальному характеру [Королева 2026]. Этнокультурное толкование творчества Пушкина в его книгах «Вехи русской литературы» [Baring 1912] и

«Очерк русской литературы» [Baring 1915] на смысловом уровне смыкается с его высказываниями о русском национальном характере в «Истоках России» [Baring 1914] и «Русском народе» [Baring 1911). В «Истоках…» Бэринг указывает на здравый смысл (“commonsense”), жизнерадостность и чувство юмора (“cheerfulness”; “good humour”) как на черты, присущие русскому крестьянину [Baring 1914, p. 60]. В «Русском народе» он отмечает, что свойственный русскому человеку здравый смысл (“commonsense”) является формой общего «духа позитивизма и реализма» (“spirit of positivism and realism”), свойственного русскому народу [Baring 1911, p. 53]. В то же время для него очевидно, что реализм в русском человеке сочетается с адаптивностью (“all-round adaptability”) и человечностью (“humane”) [Baring 1914, p. 40]. Неслучайно в «Очерке» он открыто соглашается с Достоевским в том, что именно «способность понять всех и каждого» (наравне с «реалистичностью» в духе Дж. Остин [Baring 1915, p. 74–75]) делает Пушкина поэтом «глубоко русским» (“this capacity for understanding everything and everybody, which makes him so profoundly Russian”) [Baring 1915, p. 96].

Следуя за М. Бэрингом и в основных элементах его этнокультурной концепции, и в самой логике ее изложения, С. Боура в своем предисловии сравнивает русскую поэзию с европейской (английской, итальянской, французской) и указывает на «более мягкую» интонацию (“its tones are quieter”), приглушенные оттенки (“its colours more subdued”), меньшую авантюрность, дерзость в выборе предмета изображения (“its subjects less adventurous”) [Bowra 1947, p. xiii]. «Даже в XIX веке мир, изображенный в русской поэзии, намного спокойнее и ближе к обыденности, чем мы могли бы ожидать в век Шелли и Гюго» / “even in the nineteenth century the world revealed in Russian poetry is much quieter, much closer to common life, than we should expect in the age of Shelley and Hugo” [Bowra 1947, p. xiii], – поясняет автор-составитель.

В то же время как переводчик с длительным опытом работы с поэтическими произведениями разных национальных традиций он указывает на «адаптивность, разнообразие и выразительность» (“adaptability and variety and expressiveness”) [Bowra 1947, p. xiv] самого русского языка; подчеркивает, что «по своей природе» тот «из всех европейских языков, может быть, наиболее предрасположен к

поэзии» / “Russian is perhaps of all European languages the most gifted by nature for poetry” [Bowra 1947, p. xv]. В целом в предисловии к составленной им антологии русской поэзии С. Боура излагает собственную, оригинальную позицию, во многом основанную на синтезе концепции М. Бэринга с концепцией Д.С. Мирского и в то же время обобщающую опыт собственной переводческой деятельности.

Боура обнаруживает в истории русской поэзии не только проявление духа русского народа, но и масштабное влияние пушкинского гения: «Русская поэзия в большой степени создана девятнадцатым веком и даже одним человеком» / “Russian poetry is largely the creation of the nineteenth century and even of a single man”, – так начинается его Введение (Introduction) [Bowra 1947, p. xiii]. Продолжается же оно уточнением: «Русская поэзия <…> едва ли не всем обязана Пушкину. <…> Если мы знаем Пушкина, мы знаем отличительные признаки [всей] русской поэзии» / “Russian poetry, as we know it, owes an incalculable debt to Pushkin. <…> If we know Pushkin, we know the peculiar qualities of Russian poetry”) [Bowra 1947, p. xiii]. В представлении о решающем воздействии пушкинского творчества на пути развития русской поэзии Боура оказывается близок не к М. Бэрингу, а к другому своему предшественнику по линии изучения истории русской поэзии и литературы в целом – к Д.С. Мирскому.

Именно в трудах Мирского (в первую очередь, в статье «Пушкин», написанной для «Славянского обозрения» [Mirsky 1989], а также в монографиях «Пушкин» [Mirsky 1926] и «История русской литературы» [Mirsky 1949]) поэт предстает гением, связанным отнюдь не с русским народным сознанием (ср.: «Нелепица говорить о Пушкине как о продукте русского народа» [Мирский 2014, с. 59]), но с высокой дворянской культурой, и при этом вся послепушкинская культура оказывается озаренной им, его поэтикой, в том числе и его особенным реализмом [Mirsky 1926, p. 88]. Вместе с тем в осмыслении сочувствия как ключевой особенности русского реализма концепции Мирского и Бэринга сходятся, и это общее для них, как и для других британских (и в целом европейских – вспомним «корневую» для европейского осмысления русского реализма книгу Э. Мельхиора де Вогюэ «Русский роман») интеллектуалов [Трыков 2011], признание выраженной гуманности русской литературы оказало несомненное воздействие на концепцию русской поэзии Сесила Боура.

К общим особенностям содержания русской поэзии Боура относит, в первую очередь, «живое восприятие человечности», внимание к душе, к внутренней жизни человека (ср.: “The Russian poets, like the Russian novelists, have a lively understanding of many kinds of humanity <…> the soul, <…> the fundamental, unchanging nature behind it [the external circumstance]. <…> This profound interest in human life”) [Bowra 1947, p. xv–xvi] и называет в числе произведений, в которых впервые определилась эта особенность, пушкинские «Я вас любил…» и «Письмо Татьяны».

Выделяет Боура и противоборство сердечной, телесной и душевно-духовной жизни как важнейший предмет изображения в русской поэзии – противоборство, в котором «наслаждение умаляется и сдерживается ощущением греха» (“The claims of the heart, or of the flesh, are countered by the claims of the soul; the sense of pleasure is haunted and corrected by a sense of sin”) [Bowra 1947, p. xvii]. Он указывает в связи с этим утверждением на стихотворение «Воспоминание» Пушкина как ее (этой особенности) ярчайшее проявление и литературный источник (фундамент).

В отличие от М. Бэринга, Д.С. Мирского, Я. Лаврина, Боура – едва ли не первым в числе исследователей русской литературы в России и за рубежом – проницательно различает среди принципиальных особенностей русской поэзии «ощущение иного мира», смыкающееся с «любовью к Богу» и ближнему своему, а также с «мистической концепцией жизни»: “In the Russian soul the love of God is a natural counterpart to the loves of men <…> This sense of another world may at times take special forms <…> a mystical conception of life, and from this few Russian poets are very far”) [Bowra 1947, p. xvii]. В качестве основного источника поэтических воплощений этого вектора размышлений Боура приводит пушкинского «великолепного» (“magnificent”) «Пророка». Именно с «Пророка» Пушкина вся русская поэзия начинается в антологии; заканчивает же (и ожидаемо) пушкинскую часть «Памятник». Автором перевода «Пророка», выбранного для публикации редактором, является М. Бэринг; автором перевода «Памятника» стал сам Боура.

Удивительным представляется это прикосновение английского переводчика и ученого к христианской сущности русского реализма – сущности, к которой пушкинист В.М. Маркович подступался

в 1970-е годы [Маркович 2023, с. 194] и которая была ясно осмыслена в отечественном литературоведении в начале 2000-х годов в трудах В.Н. Захарова [Захаров 2001]. Примечательно, что к схожему выводу относительно русской литературы буквально несколькими годами позже Боуры пришел другой профессор Оксфордского университета – философ Ричард Хаэра (Richard Hare). В книге «Русская литература от Пушкина до наших дней» [Hare 1947] он определил стремление к некоему «иному плану бытия» в качестве константного признака русской классической литературы. Правда, трактовал он этот «иной план» в русле романтических по своему происхождению представлений о трансцендентной сущности идеала. По его мысли, в произведениях великих русских писателей-реалистов выражено «стремление к чему-то недостижимому, тому, что находится за границами обыденной реальности и что <…> может указывать на лучшую жизнь отдаленного грядущего поколения или же на отделенный от нас совершенный духовный мир» (“a striving for something hitherto unattainable, right outside the every day realistic setting, to an imaginative yearning which <…> pointed either to the better life of some distant generation or to a more perfect spiritual world apart”) [Hare 1947, p. xii]. В отличие от своего коллеги-философа, Боура возводит «ощущение иного мира» в русской поэзии к христианскому мировосприятию, но при этом его выражение «мистическая концепция жизни» выводит утверждение этой взаимосвязи в поле философских размышлений.

В целом антология Боура, представив образцы любовной, пейзажной, гражданской, религиозно-философской лирики Пушкина, осветила пушкинское творчество не менее полновесно, чем другая антология – «Оксфордская антология русской поэзии» (*The Oxford book of Russian Verse*), составленная на русском языке двумя десятилетиями ранее Морисом Бэрингом и выдержавшая в течение 1920–1960-х гг. три издания в первой редакции и пять изданий во второй. Однако в отборе пушкинских стихов между принципами Боура и Бэринга прослеживаются некоторые различия. В бэринговскую антологию вошли «Анчар», «Пир Петра Великого», отрывки из «Полтавы», «Бориса Годунова» и «Скупого рыцаря» – тексты, сложно освещающие проблему власти, поднимающие вопросы философии истории на русском материале; более того, в его книге акцент явно сделан на религиозно-

философских темах, включая тему поэтического творчества. В сборнике же Боура представлена исключительно пушкинская лирика[1], и в ней переводчик-составитель находит в первую очередь ту «любовь к своей стране» (“this love of their country”) – к ее удивительному «бескрайнему пейзажу» (“that illimitable landscape”) и к ее «страстной душе» (“that passionate soul”), которая делает поэта столь глубоко русским и которая становится залогом эталонности его творчества для русской поэзии [Bowra 1947, p. xix–xx]. Несколько схематизируя, можно утверждать, что если в книге Бэринга пушкинская поэзия явлена в пространствах душевного, духовного и историко-политического бытия как великое и разновекторное явление мировой литературы, то в сборнике Боура на первый план выходит русскость поэта и, соответственно, эмоциональная, душевная компонента пушкинской лирики в тесной взаимосвязи с текстами, отображающими духовный путь поэта, его любовь к родине.

Попытка Боура отразить в сборнике темы русской поэзии, выделенные им в качестве доминантных (душевные переживания – духовные искания, диалог с «иным миром» – любовь к родному), и одновременно показать ее содержательное своеобразие нашла воплощение в его переводах Пушкина, представленных в книге. В переводах редактора-составителя даны шедевры пушкинской любовной лирики («Я вас любил…», «Я помню чудное мгновенье…», «Под небом голубым страны своей родной…»); произведения, вписывающие образ человека в духовную вертикаль («Бесы», «Ангел»); стихотворения, в которых воспевается русская природа («Зимнее утро»); отдельные образцы гражданской лирики («Стансы», «Во глубине сибирских руд…»); лирические размышления о поэтическом и человеческом призвании («Дар напрасный, дар случайный…», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Поэт», «Памятник»).

Концепция доминантных тем, выработанная Боура, в своем теоретическом виде производит впечатление обоснованной, последовательной, прикасающейся к духовному фундаменту русской литературы. Однако анализ переводческих интерпретаций обнаруживает и слабые места этой концепции, и некоторый зазор между теорией и практикой: переводы пушкинских текстов, выполненные

[1] «Письмо Татьяны» вполне вписывается в этот ряд.

Боура, характеризуются, несмотря на смысловую и «формальную» близость к оригиналу, недостаточным вниманием к звуковой стороне стиха, философским толкованием, значительно трансформирующим содержание текста; внерелигиозным пониманием устремленности к «иному плану» бытия, выраженной в произведении.

В качестве примера рассмотрим перевод знаменитого пушкинского стихотворения «Дар напрасный, дар случайный…» (1828). Стихотворение, как известно, отразило «пик острейшего духовного кризиса» [Непомнящий 2001], «поиски цели жизни», смысла земного бытия [Кичатов 2005, с. 201]. Среди многих других пушкинских творений оно несет на себе заметный след вчитывания в Священное Писание, в данном случае в Книгу Иова [Кичатов 2005, с. 201]. Индивидуальность его содержательного облика и интонационного рисунка определяется совмещением (напластованием) в единой текстовой структуре фундаментального утверждения о существовании благого дара жизни (утверждение усилено благозвучием и «утвердительной» фоносемантикой стиха), поверхностного отрицания, выраженного в дополнительных характеристиках этого дара, и напряженно-эмоционального вопроса о его смысле. Слова о «даре» жизни, о том, что она «дана», отражают глубинную веру в то, что человеку жизнь дается кем-то и для чего-то. Характеристики «напрасный» и «случайный» отрицают эту веру. Вплетение обращения, связанного с фундаментальным утверждением веры, и характеристик, выражающих поверхностное ее отрицание, в синтаксическую структуру вопроса о цели («зачем?») задает динамику глубокой внутренней драмы мыслящей, верящей и сомневающейся личности.

Боура сохраняет метр (но не ритм), общую перекрестную схему рифмовки с чередованием мужских и женских окончаний, связь содержания произведения с христианскими представлениями о земном бытии и Вечности. Но при этом кардинально уходит от гармонизующей мелодичности пушкинского стиха. Сравним первую строфу пушкинского текста и его перевода:

Дар напрасный, дар случайный, Жизнь, зачем ты мне дана? Иль зачем судьбою тайной Ты на казнь осуждена? [Пушкин 1948, с. 104]	Gift haphazard, unavailing, Life, why wert thou given to me? Why art thou to death unfailing Sentencing by dark destiny? [Bowra 1947, p. 10]

Пушкинский ассонанс (с активным выделением фоносемантически «светлого», «яркого» гласного ‘а’ в первой строке) и аллитерация с выделением благозвучной звонкой согласной ‘д’ и «протяженных» сонорных ‘н’ и ‘р’ (последний из которых имеет особую фоносемантическую выразительность, определяемую семантикой силы и движения [Журавлев 1991, с. 20–22]) замещается в переводе аллитерацией с выделением шумного глухого ‘f’; соответствий же ассонансному выделению открытого гласного ‘а’ мы не находим в переводе вовсе. Гармонизующая мелодичность формы пушкинской строфы, на фоносемантическом уровне вторящая глубинному утверждению о благости «дара» человеческой жизни, вступающая в диалог с драматическим напряжением ее вопроса, в переводе исчезает. Звуковой облик строфы здесь только подчеркивает и усиливает драматизм лирического сюжета.

Пушкинская строфа практически не имеет признаков архаического и возвышенно-поэтического стиля: если не считать «омузыкаленной» формы существительного и его инверсии в сочетании с прилагательным «судьбою тайной», пушкинская лексика и синтаксис вполне нейтральны. В переводе же использованы архаичные формы глаголов и местоимений, подчеркнуто соотносящих текст с английской поэзией XVII – начала XIX веков и традицией философской лирики: ‘wert’, ‘art’, ‘thou’. Пушкинский стих в переводе обретает признаки возвышенно-архаического стиля, долженствующего, по всей видимости, вести английского читателя к традиции «метафизической» поэзии.

Этими существенными сдвигами не исчерпываются переводческие трансформации. «Тайная» судьба превращается у Боура в «темную» (dark), тем самым на место амбивалентной, бездонно-диалогичной характеристики, указывающей на «иной» план человеческого бытия, перевод «втаскивает» негативный оценочный признак, включающий в поле читательского горизонта ассоциацию «судьбы» с античным роком и действием демонических сил.

Наконец, ключевое для пушкинского текста слово «зачем», обнаруживающее суть духовных исканий лирического героя как способ вопрошания о высшей цели человеческого бытия, в переводе получает оформление в слове ‘why’, которое может означать как вопрос о

цели, так и (доминантное значение) вопрос о причине. Тем самым перевод направляет читательскую мысль в сторону недовольства автора-героя своей обреченностью на смерть – поиска смысла не столько жизни, сколько смерти. Неслучайно слово «смерть» в переводе усилено эпитетом «неизбежная» – ‘death unfailing’, христианское же представление о смерти как наказании за грехи (последствии грехопадения человека), на которое намекает слово «казнь», из перевода полностью уходит.

Вторая строфа переведена близко к «духу» пушкинского текста. Однако при всей эквивалентности перевода два смысловых сдвига задают ей специфические (в том числе собственно английские) векторы толкования. Пушкинское прилагательное широкого содержания с отсылкой к «врагу рода человеческого» Дьяволу («враждебная» власть) в переводе замещено признаком «деспотический» (‘despotic’), который в английской поэзии не может не отзываться мотивом романтического бунтарства, темой тирании власти, в том числе тирании Бога-Создателя по отношению к своим созданиям (ср. поэмы У. Блейка, П.Б. Шелли). Более того, пушкинскому слову «ничтожество», имеющему самое общее (в контексте же двух строф, очевидно, религиозное) значение, перевод задает философское толкование, поскольку предлагаемый эквивалент ‘Nothing’ («Ничто») в европейской культуре восходит к Платону и Аристотелю и имеет самые разные метафизические трактовки (зло как Ничто (Плотин, Августин Блаженный), Бог как Ничто (Шеллинг), становление как Ничто (Гегель) и т.п.). В ближайшем социокультурном контексте публикации антологии, как и в герменевтическом контексте переводческой интерпретации (акцентирования «темного» рока и обреченности на смерть в первой строфе и указания во второй на «деспотичную власть» некоего Начала жизни), термин «Ничто» прочитывается в русле философии М. Хайдеггера, его учения о Ничто (das Nichts; в английском варианте – the Nothing) и смерти – о тревоге *смертного* перед лицом своего небытия, о естественном одиночестве «заброшенного в жизнь» человека [Гагинский 2023].

Заключительная же строфа окончательно направляет читателя английского перевода по принципиально иному пути, чем тот, по которому ведет читателя текст оригинала. Тоска, вызванная вопросом о высшем смысле земной жизни, смотрящей в Вечность (у Пушкина),

заменяется в интерпретации Боура болью, оставляемой в человеке самой жизнью, в которую он брошен и которая, как море, поглощает его. Переводчик не находит эквивалента слову «тоска»; фразе же «шум жизни», имплицитно указывающей на музыку «иного» бытия, по которой тоскуют сердце и ум лирического героя («пустые» и «праздные» именно потому, что не наполнены этой музыкой), соответствует указание на «монотонность жизни», которая «катится надо мной» (Life monotonously o'er me / Roars) и для которой «я» – некий бесприютный хайдеггеровский «скиталец».

Цели нет передо мною:	I can see no goal before me:
Сердце пусто, празден ум,	Empty heart and idle mind.
И томит меня тоскою	Life monotonously o'er me
Однозвучный жизни шум.	Roars, and leaves a wound behind.
[Пушкин 1948, с. 104]	[Bowra 1947, p. 10]

«Раны» (awound), которые оставляет в этом «я» «монотонная» жизнь, в контексте смысловых сдвигов перевода прочитываются как порождения тревожно-одинокого состояния человека, осознавшего свою смертность, незащищенность своего бытия. Неслучайны в этом контексте значительные сдвиги в синтаксисе и, соответственно, в смыслооформлении строфы. Имеется в виду акцентное вынесение 'I' («я») в начальную позицию в качестве субъекта-подлежащего и тем самым акцентирование «я» как субъекта познания и носителя самосознания в первой строке (тогда как у Пушкина субъектна «цель», с этого слова и начинается строфа). Значимо и замещение предикативности (отражающей связь с действительностью и утверждающей состояние предмета *во времени*) в пушкинском высказывании о сердце и уме (сердце (субъект) *есть, сейчас* пусто; ум (субъект) *есть, сейчас* празден) «признаковостью»: «я» описано как «пустое сердце» (empty heart) и «праздный ум» (idle mind). Синтаксические сдвиги в этой строфе, как и лексико-фоносемантические в переводе в целом, обнаруживают уход от религиозной, христианской парадигмы мировосприятия, для которой характерны не только вопросы о смерти, смертности, смысле жизни, но и внимательное вглядывание в «состав» своей души, способность следить за проявлениями падшего естества в состояниях своего сердца и ума. Об этой способности в развитие

евангельского изречения о молитве («Вниди в клеть твою и помолися» (Мф 6:6)), в частности, размышлял Георгий Кониский, краткое жизнеописание которого Пушкин изложил в статье для первого выпуска «Современника» за 1836 г. В этой же статье поэт среди прочих высказываний архиепископа привел и упомянутое размышление, в котором сказано об уме, долженствующем «разуметь» «глаголы свои», и о сердце, «долженствующем прилепиться к богу» [Пушкин 1949, с. 15]. Фундаментальная для пушкинского стихотворения религиозная, христианская парадигма миропонимания в переводе последовательно замещена философско-метафизическим, субъективно-«хайдеггеровским» вектором. Значимость и направление смыслового сдвига, по всей видимости, определили выбор названия для текста перевода: пушкинское принципиально неназванное лирическое размышление о смысле жизни неожиданно обретает в переводе Боура заголовок, ориентированный на дату его написания: «26 мая 1828» (*May, 26 1828*).

Таким образом, в концепции С. Боура, изложенной в составленной им англоязычной антологии русской поэзии (1943), русская литература представала особым проявлением национальной культуры (отмеченной музыкальностью, сдержанностью, лаконичностью, приглушенностью интонаций, возвышенной поэтичностью и одухотворенностью (мистичностью) при одновременном внимании к обыденной реальности) и в то же время движением человеческого духа, пути которого были предопределены гением Пушкина. Пушкинские стихотворения открывали собой антологию; от них в своем предисловии Боура вел «генеалогию» основных направлений в содержании русской лирики. К их числу он относил глубокие душевные переживания, ощущение «иного плана» бытия и духовные искания, русскую природу и русский мир.

Концепция доминантных тем, выдвинутая Боура, последовательно и своеобразно синтезировала результаты его переводческого опыта с концепциями русской литературы, сформированными в работах его предшественников – авторитетных специалистов в сфере русской литературы и культуры: Мориса Бэринга и Д.С. Мирского. Анализ перевода стихотворения «Дар напрасный, дар случайный…», осу-

ществленного Боура, обнаруживает неслучайную в контексте отмеченной концепции содержательную близость текстов оригинала и перевода. Вместе с тем перевод замещает гармоническое благозвучие пушкинской поэтической речи напряженно-рваным звучанием; предлагает специфическое толкование его содержания в смысловых векторах, близких переводчику и, соответственно, английскому, англоязычному читателю; задает внерелигиозное, философское понимание устремленности лирического героя к «иному плану» бытия.

В целом, пушкинское напряженно-эмоциональное (драматичное, но не трагическое!) лирическое размышление о смысле жизни, соотнесенное с христианским миропониманием аллюзией на Книгу Иова, равно как и ключевыми словами-понятиями (жизнь как «дар», смерть как наказание («казнь»), «пустота» сердца, «праздность» ума, «тоска»), в интерпретации Боура предстает философско-лирическим (с оттенком трагизма) высказыванием о бездомно-одиноком (в духе М. Хайдеггера) бытии человека перед лицом смерти, о его заброшенности в этот мир, о его страхе перед неизбежностью встречи с Ничто.

Источники

Пушкин 1948 – Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 16 т. Т. 3, кн. 1. Стихотворения, 1826–1836. Сказки. М., Л., 1948.

Пушкин 1949 – Пушкин А.С. Собрание сочинений Георгия Кониского, архиепископа Белорусского, изд. протоиереем Иоанном Григоровичем. СПб., 1835 // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 16 т. Т. 12. Критика. Автобиография. М., Л., 1949. С. 12—24.

Bowra 1947 – Bowra C.M. (ed.) A Book of Russian Verse. London: MacMillan and Co LTD, 1947.

Литература

Гагинский 2023 – Гагинский А.М. Хайдеггер, Ничто и преодоление страха смерти // Философский журнал / Philosophy Journal. 2023. Т. 16. № 3. С. 85–102.

Журавлев 1991 – Журавлев А.П. Звук и смысл. М., 1991.

Захаров 2001 – Захаров В.Н. Христианский реализм в русской литературе (постановка проблемы) // Проблемы исторической поэтики. 2001. № 6. С. 5–20.

Кичатов 2005 – Кичатов А. Христианские мотивы в творчестве А.С. Пушкина // Балтийский филологический курьер. 2005. № 5. С. 187–207.

Королева 2026 – Королева С.Б. Концепции русского реализма в англо-американской славистике // Проблемы исторической поэтики. 2026. Т. 24. 2. С. 261–288.

Маркович 2023 – Маркович В.М. О Пушкине. Работы разных лет. СПб., 2023.

Мирский 2014 – Мирский Д.П. О литературе и искусстве: статьи и рецензии, 1922–1937. М., 2014.

Непомнящий 2021 – Непомнящий В.С. Христианство и Пушкин: проблема и легенды // Непомнящий В.С. Да ведают потом православных. Пушкин. Россия. Мы. М.: Сестричество во имя прпмч Великой княгини Елизаветы, 2021. 398 с. [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/fiction/da-vedayut-potomki-pravoslavnyx-pushkin-rossiya-my/5/#toc (дата обращения: 12.04.2026).

Трыков 2011 – Трыков В.П. Пушкин в книге Эжена-Мельхиора де Вогюэ «Русский роман» // Вестник Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина. 2011. № 3 (32). С. 135–140.

Baring 1911 – Baring M. The Russian People. London: Methuen and Co, 1911.

Baring 1912 – Baring M. Landmarks in Russian Literature. New York: The Macmillan Co, 1912.

Baring 1914 – Baring M. The Mainsprings of Russia. London: Thomas Nelson and Sons, 1914.

Baring 1915 – Baring M. An Outline of Russian Literature. New York: H. Holt and Co; London: Williams and Norgate, 1915.

Davidson 2009 – Davidson P.C. M. Bowra's "Overestimation" of Pasternak and the Genesis of Doctor Zhivago. The Life of Boris Pasternak's Doctor Zhivago / ed. by L. Fleishman. Stanford: Stanford Slavic Studies, 2009. P. 42–69.

Hare 1947 – Hare R. Russian Literature from Pushkin to the Present Day. London: Methuen and Co. Ltd., 1947.

Mirsky 1926 – Mirsky D.S. Pushkin. London: G. Routledge and Sons, LTD; New York: E.P. Dutton and Co, 1926.

Mirsky 1949 – Mirsky D.S. A History of Russian Literature. L: Routledge and Kegan Paul Ltd., 1949.

Mirsky 1989 – Mirsky D.S. Pushkin // Mirsky D.S. Uncollected writings on Russian Literature. Berkeley: Berkeley Slavic Specialties, 1989. P. 118–131.

A.S. PUSHKIN'S LYRICAL POETRY IN THE CONCEPT AND TRANSLATIONS OF CECIL BOWRA

S.B. Koroleva
Linguistics University of Nizhny Novgorod

The article analyzes the concept of Russian poetry from Pushkin to Mayakovsky, set out in the preface to the English-language anthology edited by Cecil M. Bowra (*A Book of Russian Verse*, 1943). The analysis includes tracing relationship between Bowra's ideas and the concepts of Russian realism developed by his authoritative predecessors, M. Baring and D.S. Mirsky. In the perspective of the described concept A. S. Pushkin's poem

A gift in vain, a gift by chance... (1828) and Bowra's own translation are comparatively interpreted. It is argued that the concept of dominant themes, set out in the anthology, consistently and uniquely synthesize the results of Bowra's translation experience with the concepts of Russian literature put forward by Baring and D.S. Mirsky. Comparative analysis of Bowra's translation (and the original text by Pushkin) proves a meaningful similarity between the original and translated texts, which is not accidental within the context of his concept. At the same time, it is demonstrated that the translation replaces the harmonious euphony of Pushkin's verse with a tense, dramatic sound, offers a specific interpretation of its message within paradigms familiar to both the translator and the English-language reader (the motif of evil fate, the traditions of metaphysical poetry and English Romanticism, the metaphysics of Nothingness); and replaces the religious, Christian worldview fundamental to Pushkin's poem with a metaphysical (in the spirit of M. Heidegger) discussion of the essence of human life in the face of death and Nothingness.

Keywords: anthology of Russian lyric poetry, English translations, A.S. Pushkin, C.M. Bowra, concept of Russian poetry, translation interpretation, "A gift in vain, a gift by chance…", Christian paradigm of worldview, M. Heidegger.